

# Корь

**Автор:**

Александр Куприн

Корь

Александр Иванович Куприн

«Перед обедом доктор Ильяшенко и студент Воскресенский искупались. Жаркий юго-восточный ветер развел на море крупную зыбь. Вода у берега была мутная и резко пахла рыбой и морскими водорослями; горячие качающиеся волны не освежали, не удовлетворяли тела, а, наоборот, еще больше истомляли и раздражали его...»

Александр Иванович Куприн

Корь

I

Перед обедом доктор Ильяшенко и студент Воскресенский искупались. Жаркий юго-восточный ветер развел на море крупную зыбь. Вода у берега была мутная и резко пахла рыбой и морскими водорослями; горячие качающиеся волны не освежали, не удовлетворяли тела, а, наоборот, еще больше истомляли и раздражали его.

– Вылезайте, коллега, – сказал доктор, поливая пригоршнями свой толстый белый живот. – Так мы до обморока закупаемся.

От купальни нужно было подыматься вверх, на гору, по узкой тропинке, которая была зигзагами проложена в сыпучем черном шифере, поросшем корявым дубнячком и бледно-зелеными кочнями морской капусты. Воскресенский взбирался легко, шагая редко и широко своими длинными мускулистыми ногами. Но тучный доктор, покрывший голову, вместо шляпы, мокрым полотенцем, изнемогал от зноя и одышки. Наконец он совсем остановился, держась за сердце, тяжело дыша и мотая головой.

- Фу! Не могу больше... Хоть снова полезай в воду... Постоим минутку...

Они остановились на плоском закруглении между двумя коленами дорожки, и оба повернулись лицом к морю. Взбудораженное ветром, местами освещенное солнцем, местами затененное облаками, - оно все пестрело разноцветными заплатами. У берега широко белела пена, тая на песке кисейным кружевом, дальше шла грязная лента светло-шоколадного цвета, еще дальше - жидкая зеленая полоса, вся сморщенная, вся изборожденная гребнями волн, и, наконец, - могучая, спокойная синева глубокого моря с неправдоподобными яркими пятнами, то густофиолетовыми, то нежно-малахитовыми, с неожиданными блестящими кусками, похожими на лед, занесенный снегом. И вся эта живая мозаика казалась опоясанной у горизонта черной, спокойной, неподвижной лентой безбрежной дали.

- А все-таки здорово как! - сказал доктор. - Красота ведь, а?

Он протянул вперед короткую руку с толстенькими, как у младенца, пальцами и широко, по-театральному, черкнул ею по морю.

- Да... ничего, - равнодушно ответил Воскресенский и зевнул полупритворно. - Только надоедает скоро. Декорация.

- Та-ак! Мы их ели. Это, знаете, анекдот есть такой, - пояснил Ильяшенко. - Пришел солдат с войны к себе в деревню, ну и, понятно, врет, как слон. Публика, конечно, обалдевши от удивления. «Были мы, говорит, на Балканах, в самые, значит, облака забрались, в самую серединку». - «Ах, батюшки, да неужто ж в облака?» А солдат этак с равнодушием: «А что нам облака? Мы их ели. Все одно как студень».

У доктора Ильяшенки была страсть рассказывать анекдоты, особенно из простонародного и еврейского быта. В глубине души он думал, что только по капризному расположению судьбы из него не вышло актера. Дома он изводил жену и дочь Островским, а в гостях у пациентов любил декламировать никитинского «Ямщика», причем неизменно для этого вставал, переворачивал перед собою стул и опирался на его спинку вывороченными врозь руками. Читал же он самым неестественным, нутряным голосом, точно чревовещатель, полагая, что именно так и должен говорить русский мужик.

Рассказав анекдот о солдате, он тотчас же, первый, радостно захохотал свободным грудным смехом. Воскресенский принужденно улыбнулся.

– Видите ли, доктор... юг, – начал он вяло, точно затрудняясь в словах, – не люблю юга. Здесь все как-то маслено, как-то... не знаю... чрезмерно. Ну, вот, цветет магнолия... позвольте, да разве это – растение? Так и кажется, что ее нарочно сделали из картона, выкрасили зеленой масляной краской, а сверху навели лак. Природа! Солнце встало из-за моря – и жара, а вечером бултых за горы – и сразу ночь. Нет птиц. Нет наших северных зорь с запахом молодой травки, нет поэзии сумерек, с жуками, с соловьем, со стадом, бредущим в пыли. Какая-то оперная декорация, а не природа...

– В ва-ашем до-оме, – сиплым тенорком запел доктор. – Известно, – вы кацап.

– А эти лунные ночи, черт бы их драл! – продолжал Воскресенский, оживляясь от давнишних мыслей, которые он до сих пор думал в одиночку. – Одно мученье. Море лоснится, камни лоснятся, деревья лоснятся. Олеография! Цикады дурацкие орут, от луны никуда не спрячешься. Противно, беспокойно как-то, точно тебя щекочат в носу соломинкой.

– Варвар! Зато, когда у вас в Москве двадцать пять градусов мороза, и даже городские трещат от холода, – у нас цветут розы и можно купаться.

– И южного народа не люблю, – упрямо продолжал студент, следивший за своими мыслями. – Скверный народишко – ленивый, сладострастный, узколобый, хитрый, грязный. Жрут всякую гадость. И поэзия у них какая-то масляная и приторная... Вообще – не люблю!

Доктор остановился, развел руками и сделал круглые, изумленные глаза.

– Тю-тю-тю-у! – засвистал он протяжно. – И ты, Брутус? Узнаю дух нашего почтенного патрона в ваших словах. Русская песня, русская рубаха, а? Русский бог и русская подоплека? Жидишки, полячишки и прочие жалкие народишки? А?

– Будет вам, Иван Николаевич. Оставьте, – резко сказал Воскресенский. Лицо у него вдруг побледнело и некрасиво сморщилось. – Тут смеяться не над чем; вы знаете хорошо мои взгляды. Если я до сих пор не сбежал от этого попугая, от этого горохового шута, то только потому, что есть надо, а это все скорее прискорбно, чем смешно. Довольно и того, что за двадцать пять рублей в месяц я ежедневно отказываю себе в удовольствии высказать то, что меня давит... душит за горло... что оподляет мои мысли!..

– Пре-елесь, ну зачем так сильно!

– У! Я бы ему сказал много разных слов! – воскликнул злобно студент, потрясая перед лицом крепким, побелевшим от судорожного напряжения кулаком. – Я бы... о, какой это шарлатан!.. Ну, да ладно... не навек связаны.

Глаза доктора вдруг сузились и увлажнились. Он взял Воскресенского под руку и, баловливо прижимаясь головой к его плечу, зашептал:

– Слушайте, радость, зачем так кирпичиться? Ну что толку, если вы Завалишина изругаете? Вы его, он вас – и выйдет шкандал в благородном доме, и больше ничего. А вы лучше соедините сладость мести с приятностью любви. Вы бы Анну Георгиевну... А? Или уже?

Студент промолчал и делал усилия высвободить свою руку из рук доктора, но тот еще крепче притиснул ее к себе и продолжал шептать, играя смеющимися глазами:

– Чудак человек, вы вкусу не понимаете. Женщине тридцать пять лет, самый расцвет, огонь... телеса какие! Да будет вам жасминничать – она на вас, как кот на сало, смотрит. Чего там стесняться в родном отечестве? Запомните афоризм: женщина с опытом подобна вишне, надклеванной воробьем, – она всегда слаще... Эх, где мои двадцать лет? – заговорил он по-театральному, высоким блеющим горловым голосом. – Где моя юность! Где моя пышная шевелюра, мои тридцать два зуба во рту, мой...

Воскресенскому удалось наконец вырваться от повисшего на нем доктора, но сделал он это так грубо, что обоим стало неловко.

– Простите, Иван Николаич, а я... не могу таких мерзостей слушать... Это не стыдливость, не целомудрие, а... просто грязно, и... вообще... не люблю я этого... не могу...

Доктор насмешливо растопырил руки и хлопнул себя по ляжкам.

– Очарование мое, значит, вы не понимаете шуток? Я сам вполне уважаю чужие убеждения и, уверяю вас, радуюсь, когда вижу, что среди нынешней молодежи многие смотрят чисто и честно на эти вещи, но почему же нельзя пошутить? Сейчас же фрр... и хвост веером. К чему?

– Извините, – глухо сказал студент.

– Ах, родной мой, я же ведь это не к тому. Но только все вы теперь какие-то дерганые стали. Вот и вы: здоровенный мужчище, грудастый, плечистый, а нервы как у институтки. Кстати, знаете что, – прибавил доктор деловым тоном, – вы бы, сладость моя, пореже купались. Особенно в такую жару. А то, знаете, можно с непривычки перекупаться до серьезной болезни. У меня один пациент нервную экзему схватил оттого, что злоупотреблял морем.

Они шли теперь по последнему, почти ровному излому тропинки. Справа от них обрывалась круто вниз гора и бесконечно далеко уходило кипящее море, а слева лепились по скату густые кусты шиповника, осыпанного розовыми, нежными цветами, и торчали из красно-желтой земли, точно спины лежащих животных, большие, серые, замшелые камни. Студент смущенно и сердито глядел себе под ноги.

«Нехорошо это вышло, – думал он, морщась. – Нелепо как-то. В сущности, доктор славный, добрый человек, всегда внимательный, уступчивый, ровный. Правда, он держит себя немножко паяцем и болтлив, ничего не читает, сквернословит, опустил благодаря легкой курортной практике... Но все-таки он хороший, и я поступил с ним резко и невежливо».

А Ильяшенко в это время беспечно сбивал тросточкой тонкие белые цветочки повилики, крепко пахнувшие горьким миндалем, и напевал вполголоса:

В вашем до-оме узнал я впервые...

Сладость чистой и нежн-ай любви.

II

Они вышли на шоссе. Над белой каменной оградой, похожей своей массивностью на крепостную стену, возвышалась дача, затейливо и крикливо выстроенная в виде стилизованного русского терема, с коньками и драконами на крыше, со ставнями, пестро разрисованными цветами и травами, с резными наличниками, с витыми колонками, в форме бутылок, на балконах. Тяжелое и несуразное впечатление производила эта вычурная, пряничная постройка на фоне сияющего крымского неба и воздушных, серо-голубых гор, среди темных, задумчивых, изящных кипарисов и могучих платанов, обвитых сверху донизу плющом, вблизи от прекрасного, радостного моря. Но ее владелец, Павел Аркадьевич Завалишин, бывший корнет армейской кавалерии, затем комиссионер по продаже домов, позднее – нотариус в крупном портовом городе на юге, а ныне известный нефтяник, пароходовладелец и председатель биржевого комитета, – не чувствовал этого противоречия. «Я – русский и потому имею право презирать все эти ренессансы, рококо и готики! – кричал он иногда, стуча себя в грудь. – Нам заграница не указ. Будет-с: довольно поклонялись. У нас свое, могучее, самобытное творчество, и мне, как русскому дворянину, начихать на иностранщину!»

На огромном нижнем балконе уже был накрыт стол. Дожидались Завалишина, который только что приехал из города и переодевался у себя в комнате. Анна Георгиевна лежала на кресле-качалке, томная, изнемогающая от жары, в легком халате из молдаванского полотна, шитого золотом, с широкими, разрезными до подмышек рукавами. Она была еще очень красива тяжелой, самоуверенной, пышной красотой – красотой полной, хорошо сохранившейся брюнетки южного типа.

– Здравствуйте, доктор, – сказала она низким голосом, чуть-чуть картавя. – Отчего вы вчера не догадались приехать? У меня была такая мигрень!

Не подымаясь с кресла, она лениво протянула Ивану Николаевичу руку, причем свисший вниз рукав открыл круглое, полное плечо с белой оспинкой, и голубые жилки на внутреннем сгибе локтя, и темную хорошенькую родинку немного повыше. Анна Георгиевна (она требовала почему-то, чтобы ее называли не Анной, а Ниной) знала цену своим рукам и любила их показывать.

Ильяшенко притянул к протянутой руке так почтительно, что ее пришлось у него выдернуть насильно.

– Вот видите, какой у нас доктор галантный, – сказала Анна Георгиевна, переводя на Воскресенского смеющиеся, ласковые глаза. – А вы никогда у дам рук не целуете. Медведь! Подите сюда, я перевяжу вам галстук. Вы бог знает как одеваетесь!

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: <https://tellnovel.com/aleksandr-kuprin/kor>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)